

Александр Колмогоров

## ДВА РАССКАЗА

### КЛОУНЕССА

В детском саду она отказалась быть снежинкой. Заявила:

— Я буду клоуном!

Мать пыталась засунуть ее в белое платьице. Говорила, что все девочки в этом году — снежинки. Да и где его взять, этот клоунский костюм? Шурочка вырвалась. Спряталась под кровать.

Когда мать вышла в магазин, Шурочка выкинула белое платье в окно. Достала в шкафу цветастую шелковую блузку матери. Вырезала в ней ножницами большую дыру. Просунула в эту дыру голову. Наде-ла отцовскую шляпу. Размалевала красной помадой рот и щеки.

— Ну вот, — сказала она вернувшейся матери, — смотри! Правда, смешно?!

Кем она могла стать? Конечно, актрисой. Ею и стала.

И вдруг.

Ни мамы, ни театра. Ни взлетов, ни падений. Ни ролей, ни простоев.

Она, шестидесятидвухлетняя, стоит на балконе пятого этажа в Израиле с бокалом вина в руках. Седой муж Миша умоляет ее закрыть окно, не петь на всю улицу: у нас столько соседей хасидов. А она, назло ему и хасидам, выкрикивает с вызовом: «Не падайте духом, поручик Голицын! Корнет Оболенский! Налейте вина!»

Миша снова умоляет ее.

Шурочка замолкает лишь для того, чтобы сделать еще пару глотков. И кричит из окна, что чихать ей на хасидов, что она свободный человек и что ее песни только взбадривают всех этих ребят, вносят разнообразие в их скучную жизнь.

В какой-то момент Шурочка замирает, задумывается: никак не может понять, как она оказалась на этом балконе. В который раз спрашивает себя: «Может, прыгнуть уже?»

Смотрит, шурясь, на дальний светофор слева от дома.

Там все по-прежнему — три цвета. Красный, желтый, зеленый. Но красный, как ей кажется, горит дольше.

— Куплю! Сейчас пойду и куплю пистолет!.. Этот красный на светофоре, он бесит меня! Просто сводит с ума!

— Детка, от этого не будет гореть только зеленый.

— Заткнись! У тебя всегда желтый, блин!..

В начале жизни ей долго светил зеленый, счастливый. А потом началось! Смещение цветов, нестабильность, недокомплект счастья. И что ей было делать с ее привычкой непрерывно мчать на зеленый?

— Нет, ну, ты смотри: красный горит в два раза дольше! Я засекала! Уродский город! Дебильная страна!.. Какого черта ты меня сюда притащил?!

Покладистый Миша молчит. Вспоминает, как они встретились десять лет назад.

В то время в ташкентский театр, где Шурочка сидела без дела и спивалась, пришел настоящий режиссер. Поставил яркий, веселый спектакль по комедии Мольера. Он не стал слушать доброжелателей, стращавших его бурной Шурочкиной биографией, ее аморальным обликом. Дал ей главную роль. Как же она блистала в ней, как упивалась ею! Как была счастлива!

Именно в тот светлый период они с Мишей и познакомились.

На улице Навои недалеко от театра была забегаловка — сосисочная «Попугайчик». Свое название она получила из-за медной чеканки, висевшей зачем-то над входом: на ней был изображен попугай на жердочке. Чеканка во время одного из ремонтов исчезла, а название так и осталось в памяти народной.

«Попугайчик» был забегаловкой культурной. В него заглядывали работники ближайших заведений — сотрудники телецентра, инженеры, актеры, архитекторы. Пьяных разборок не было. Ненормативная лексика употреблялась со вкусом, к месту и негромко.

Там, в «Попугайчике», за одной из высоких стоек, среди лепешек, пива, сухого вина, сосисок с зеленым горошком и баклажанной икрой, Шурочка и познакомилась с седеющим элегантным архитектором Мишей.

Он не был красавцем. Он красиво ухаживал. Даже спорил с ней ласково, без раздражения, как с балованным, любимым ребенком. И Шурочка сдалась. Надоело быть одинокой: взрослый сын в Германии, бывший муж в Прибалтике. Захотелось хоть одного человека рядом.

Миша немного шепелявил, и Шурочка шутливо называла его «мой Мифенька».

Однажды, незадолго до регистрации, Шурочка привела Мишу в свою каморку в актерском общежитии. Решилась открыть ему свою главную тайну.

Когда Миша разлил шампанское по стаканам и один из них протянул Шурочке, она сказала:

— Смотри мне в глаза. Слушай внимательно. Это очень важно!

Она так нервничала, что, повертев стакан в руке, поставила его на стол. Взяла сигарету. Зажигалка не слушалась ее. Миша пришел на помощь. Смотрел, как она затягивается. Ждал.

— Знаешь, что я люблю сильно-сильно, больше всего на свете? — спросила Шурочка с вызовом.

— Играть? — предположил Миша.

— Это само собой. Нет! Больше всего на свете я люблю... Только не смейся, а то убью.

Шурочка встала. В ее глазах влажно вспыхнул восторг. Она широко раскинула руки.

— Наряжать елку! Вот что. — Шурочка зажмурилась. — О-бо-жа-ю! Вот мое счастье! Самое главное, Мифенька!.. Веришь? Понимаешь? Только не ври!

Миша встал. Ответил серьезно:

— Понимаю.

— Уф!.. Ответ правильный... Давай выпьем за елку!

Шурочка подняла стакан вверх, приветствуя миниатюрную елочку с малюсенькими игрушками, стоящую на шкафу. Они чокнулись, выпили. Сели.

— Один раз — давно, в Вильнюсе — я в очередной раз загуляла, сорвалась с катушек. В декабре это было. И Вита разозлился. И знаешь что сделал? Запретил мне наряжать елку! Представляешь?! Знал, гад, как мне будет больно! И запретил!.. Заперся от меня в зале и — сам, один! — наряжает. А я стою под дверью, скребусь, скулю, как последняя сука, умоляю его: «Вита, миленький! Ну, прости! Я больше не буду! Езус Мария! Клянусь! Ну, можно, хоть сосульку на макушке?!»

Шурочка отерла слезы.

— Миша! Я дрянь! Я столько крови ему попила... У меня и любовники были, и перед гебистами он из-за моей пьяной дури столько

раз унижался... Я такое могу! О-у!.. Ну, это все у тебя впереди... И все равно! Нельзя ему было так! Нельзя! Он же знал!..

Она помотала головой, отгоняя эти воспоминания. Посмотрела Мише в глаза. Потребовала серьезно.

— Поклянись, что никогда, никогда так не сделаешь.

— Никогда, — пообещал Миша, — даю слово.

Они снова выпили.

— А что это за клоун рядом с портретом сына? — спросил Миша.

— Это не клоун, — отмахнулась Шурочка, — клоунесса.

— Хорошее фото. Постой... Так это ты?

— Да. Хорошее. Только не фартовое. Фотопроба к фильму Вайды.

Про польскую клоунессу.

— Правда? Того самого? Анджея?

— Да. Его ассистентка специально приезжала к нам в театр, в Вильнюс. Потом позвонила и сказала, что я по возрасту не подхожу: слишком молода...

Шурочка хмыкнула, закинула ногу на ногу и отвернулась к окну, всем своим видом показывая, что тот случай теперь совсем не волнует ее.

Миша молча смотрел на Шурочку. Представлял, какой это был шанс. Его величество шанс. Быть может, самый главный в ее актерской судьбе.

— Ты потом видела этот фильм?

— Нет. И не видела, и не слышала. Все, хватит об этом! Наливай!..

...Миша переводит взгляд с Шурочки, поющей на балконе, в угол комнаты.

Там уже третий год стоит двухметровая наряженная елка.

Когда наступает декабрь, Шурочка меняет на ней часть игрушек, мишуры, и искусственная елка продолжает свою вечную жизнь. Шурочке нужен праздник, который всегда с ней. Пусть искусственный, но праздник. И сегодня, седьмого июля, и восьмого, и девятого... Каждый божий день.

«Она похожа на провинившуюся девочку, поставленную в угол», — устало думает о елке Миша.

— Иди сюда, — зовет его Шурочка, — что это там за тетка? Что ей надо?

Миша подходит к ней. Смотрит из окна. Метрах в пятидесяти справа от дома у пешеходного перехода стоит пожилая женщина с

каким-то круглым транспарантом на палке. Он удивляется, как это Шурочка раньше не видела ее. Объясняет: у них в Кирьят-Оно многие пенсионеры так подрабатывают. По утрам на пешеходных переходах, где нет светофора, помогают переводить через дорогу детей, идущих в школу. А потом еще и днем, когда ребята возвращаются из школы домой. У перехода собирается пара-тройка ребятишек. Пенсионер останавливает движение. И дети переходят дорогу.

— Видишь, у нее светящийся жилет? Чтобы водители видели издалека.

— А что там у нее на знаке нарисовано?

— Поднятая рука. Стоп, значит.

— Стоп, говоришь?..

Шурочка долила вина в бокал.

— Нет, Мифенька. Это не стоп. Это — полный вперед!

Через несколько дней на соседней улице возле пешеходного перехода люди увидели маленького клоуна в рыжем парике, в ярком красно-белом костюме со знаком «стоп» — нарисованной поднятой рукой. Клоун был обвешан свистками, дудками и губными гармошками. На залитой солнцем разноцветной брусчатке он собирал вокруг себя детей, сигналил своими дуделками и свистелками водителям, пританцовывал и строил рожи. А так как все это он проделывал смешно и с удовольствием, водители, дети и прохожие улыбались и аплодировали ему.

Прошел без малого год.

В один из дней у того самого пешеходного перехода появилась высокая пожилая женщина в сарафане салатного цвета. Она подняла над головой знак с нарисованной поднятой рукой. Машины затормозили. Женщина зашагала по переходу. На середине дороги оглянулась. Трое детей с ранцами не шли за ней следом. Они стояли на брусчатке. Вертели головами. Искали кого-то.

Шурочка не вышла на работу по уважительной причине.

Ее пригласили участвовать в большом клоунском параде-алле в райских куцах.

## МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ

Бобров уже не помнил, он ее впустил или она сама зашла в приоткрытую дверь, воспользовалась моментом. Хотя... Какой там момент? Входная дверь его двухкомнатной каморки после смерти жены не запиралась и закрывалась кое-как. Болталась на петлях, как в салуне времен Джека Лондона, любимого писателя Боброва. Соседи и окрестные наркоманы знали, что, кроме морских раковин, набитых окурками, и выцветшего парадного кителя, воровать у него нечего.

Китель свой Бобров надевал по торжественным случаям три раза в год: в День Военно-Морского Флота, в День Победы и в День артиллерии. Когда его с усмешкой спрашивали, с какого бока тут артиллерия, он отвечал, что флот без поддержки артиллерии — все равно, что жених в брачную ночь без перекура. На самом деле Бобров не хотел вдаваться в подробности, разъяснять каждому шнурку, что такое корабельная артиллерия и сколько лет он ей отдал. Был и еще один повод надевать китель. Это когда соседи по аварийному дому в очередной раз шли в горсовет требовать переселения. В такой день они заставляли Боброва побриться и ставили его — со значками и медалью на груди — впереди своей маленькой толпы и своего кипящего от возмущения разума.

Сегодня, в День артиллерии, Бобров сходил с двумя гвоздиками к жене. Смахнул пучком веток снег с могилки. Отхлебнул из фляжки за помин души и за праздник. Закусил морским бутербродом — куском хлеба с посыпанным на него сигаретным пеплом. Рассказал последние новости. Собираясь уходить, хотел уже было признаться про бесплатную квартирантку, но одернул себя: рано, сначала надо придумать веский довод. Иначе ведь и оттуда заревнует. Как Отелло свою бабу.

Шагая к воротам кладбища, вспоминал, какие были у жены глаза.

«Серые? Да, вроде серые. Может, сказать ей, что и у квартирантки серые? Аккуратно начать с того, что, мол, права ты была, Лидуся, когда предупреждала, как мне будет тоскливо. Вот я и пустил тут одну. Вроде не курва и не чувырла. Только клочок волос на голове выдран. Я ее так и зову, Выдра».

Боброву так понравился этот довод, что он даже остановился в решительности, оглянулся в сторону могилы жены: может, вернуть-

ся? Но в этот момент сильно подул ветер. Бобров задохнулся, утер рукавом слезы и решил отложить все до следующего раза.

После кладбища его путь лежал во Дворец культуры.

Бобров посмотрел концерт. Принял на грудь с ветеранами-артиллеристами. Произнес свой коронный тост: за то, чтоб не высохли моря и океаны. Успел разнять подравшихся курсантов. Сам в суматохе схлопотал в глаз. Домой вернулся довольный — основная часть праздничной программы выполнена.

Выдры не было видно. «Надоело вымачивать якорь. Поплыла куда-нибудь проветрить паруса, — подумал Бобров. — Ну, и ладно. А то все ходит кругами, внимания хочет, корова. А мне пора уже Карнаухову звонить».

Митька Карнаухов, четвертый механик, чирик по-флотски, был когда-то закадычным врагом Боброва на судне. Оба — горячие, острые на язык — так осточертели друг другу за время совместных рейсов, что, сойдя на берег, вздохнули с облегчением.

Друзей они не завели. А дети... Две взрослые дочери Карнаухова разъехались со своими семьями по разным городам. У Боброва детей не было: врачи еще в молодости обнаружили у его жены бесплодие. Одиночество накатывало на обоих мужиков, захлестывало, как большая, тяжелая волна. И случилось невероятное: они потянулись друг к другу. Стали вдруг перезваниваться в праздники. Спокойного тона, правда, хватало ненадолго. Заводились, как прежде, с полоборота. Вот и сейчас Бобров начал без раскачки.

— Ну что, король воды, дерьма и пара? Снился тебе твой подвал на посудине и рогатые в тельняшках?

— Да вроде не время еще плясать яблочко, — хмыкнул в трубку Карнаухов, — а ты что, Бобер, увидел уже в кошмарах свои крупнокалиберные елды? Включил машину времени? Забухал?

— Имею полное право, — довольно проурчал Бобров и многозначительно добавил: — да и сожительница не против.

На другом конце провода замолчали. Карнаухов был уязвлен.

«Как? У этой бочки усатой, у этого кота помойного баба появилась?!»

— Чего молчишь, папуас, не открытый Миклухо-Маклаем? — продолжал Бобров. — Выпьешь за корабельную артиллерию? А то давай, подгребай. Будешь доволен, как лошадь на параде: и морда в цветах, и жопа в мыле.

— Ага, щас! Уж лучше — вы к нам. У нас тут тоже, как в армии: оденут, обуют, накормят, спать уложат, звиздюлей навешают — и все бесплатно, — съязвил Карнаухов. — И сделай себе уже татуировку или нацарапай на своей ржавой мортире: Митяй за чужие праздники не пьет!

Карнаухов рывкнул это и бросил трубку.

«Подумаешь, — усмехнулся про себя Бобров, — всякий презерватив будет корчить из себя дирижабль! Тракторист хренов!.. Сам себе праздник устрою!»

Он достал из холодильника бутылку водки и закуску.

Ему нравилось, что он так смачно отделал Карнаухова, разозлил его как следует. Но чем больше Бобров пил, чем быстрее темнело за окном, тем смурнее становилось у него на душе. И уже не радовали его верховенство над Митькой и очередная размолвка с ним. Уже злился он на Выдру за ее отлучку из дома. Снова облепило, обожгло медузой ежедневное ощущение: без женки плохо, без нее все не в склад и не в лад. Теряется смысл плаванья по волнам жизни. Компас в истерике.

«Не кисни! Сказал — устрою праздник, значит, устрою, — одернул себя Бобров, — слово морского артиллериста — кремень. Пообещал вырубить хреном рощу баобабов — руби!»

Он включил телевизор. Выпил еще рюмку. И уснул за столом.

Проснулся глубокой ночью от крика:

— Бобров! Бобров, египетская сила!

Бобров разлепил глаза.

— Ты почему не следишь за своей холерой, а?! Да выключи уже этот чертов ящик!

Перед столом стояла баба Клава, соседка с первого этажа, толкала его в плечо.

— А? Че такое? — непонимающе уставился на нее Бобров. — Скоко щас?

— Допрыгался? Допился? — продолжала тараторить баба Клава. — И подруга твоя догулялась! Три часа ночи! А за ней, египетская сила, — и скорая, и полиция!

Бобров лихорадочно потер лицо ладонями. Окинул взглядом стол. Хлебнул рассола из банки с огурцами. Тяжело выдохнул.

— Не гони волну. Давай по делу.

— А вот иди, — подтолкнула его баба Клава, — глянь, как ее снимают этой... камерой! Сам все и увидишь! И расскажешь заодно всей стране в телевизор, как ты допился и дошел до жизни такой.



Бобров заволновался.

Машинально причесал пятерней жидкие вихры на голове. Проверил, застегнута ли ширинка. Бормоча под нос морские ругательства, вышел следом за соседкой из квартиры.

На первом этаже сержант полиции светил фонарем в правый от входной двери угол. Лейтенант снимал на видеокамеру какую-то картонную коробку и задавал вопросы дочери бабы Клавы, Рите:

— Во сколько это случилось?

— Примерно в начале третьего, — отвечала Рита, — мама разбудила меня и говорит: там ребенок плачет. Я прислушалась. Нет, говорю. На кошку похоже. Какая кошка, говорит. Это детский крик.

Баба Клава, спускаясь по ступенькам, недовольно перебила дочь:

— Не путай! Я сказала не детский крик, а ребенок пищит.

Все обернулись на ее голос.

— Подойдите сюда, — попросил лейтенант.

Баба Клава обошла Боброва, спустилась вниз.

— Я вижу, дочь мнется. Не шибко рвется проверять, чего там. Тогда сама накинула пальтишко, приоткрыла дверь. И вижу: вот тут, в углу, коробка. Эта самая, да. А из нее крики. Так только младенцы кричат. Подошла, глянула — египетская сила! Точно! Младенец! Тут и дочь выглянула. Чего глядишь, говорю. Звони в скорую и в милицию... Тьфу ты! Никак не привыкну, — в полицию. Скажи: мол, подбросили нам младенца в подъезд.

— Скорая когда приехала? — спросил полицейский.

— Ой, быстро! Минут через десять, — заверила дочь, — мы аж удивились.

— Ага, не то, что вы, — подтвердила мать.

Лейтенант пропустил это мимо ушей.

— В чем был ребенок?

— В синем костюмчике, — припомнила дочь, — в теплом таком. В шапочке... Сверху байковая пеленка была. А сбоку бутылочка с молоком.

— Вот сучка заботливая! — злорадно вставила баба Клава. — Дитя кинула в угол и еще молочка оставила, египетская сила!

— Мама, — укоризненно сказала дочь.

— Че мама?! Я-то мама! А если б тебя после рождения вот так в угол зимой кинули, ты бы че сказала? А?! Башку такой маме оторвать — и закинуть за Китай!

— Не отвлекайтесь, — остановил ее полицейский, — что врач говорил? Про состояние ребенка?

— Ой! Египетская сила! Мы ж, две дуры, про самое главное забыли!

Баба Клава повернулась к стоящему на верхних ступеньках Боброву. Указала на него рукой.

— Вот! Полюбуйтесь!..

Тот от волнения стал крутить пуговицу на рубашке, облизывать пересохшие губы.

— Мишаня! Ты давай не скромничай! Иди-ка сюда...

Баба Клава поманила Боброва рукой. Но он замер, не двигался с места.

— Вот! Врач знаете, что сказал? Он сказал, что во всем виновата его подруга... Как ее, Мишань? Контра? Выдра?

— Слушайте... Какие еще выдры? — поморщился лейтенант.

— Стой! Дай сказать! — замахала рукой баба Клава. — Когда я подошла к коробке, знаешь, что увидела?! Что ребеночек-то там — не один!

— Бабуля, стоп! Ты меня совсем... Как это — не один?!

— А вот так! — баба Клава торжествующе вскинула руку вверх. — Вот так!.. Рядом с ребеночком эта самая Контра-Выдра лежала! Мишкина кошка! Квартирантка его! Врач сказал, что она больше всех и виновата, что ребенок жив остался! Она его собой грела, понимаешь?! Если б не кошка, говорит, еще неизвестно, выжил бы он или замерз тут, как цуцик, возле дверей. Вон как у нас из щелей свищет! А эти жэковские плотники, египетская сила...

Полицейский снова остановил ее.

— погоди, бабуля! Мне тут про всех не надо... Составим протокол. Вы как свидетели изложите на бумаге по существу. Давайте зайдем в квартиру и все изложим.

Баба Клава, ее дочь и двое полицейских двинулись вверх по ступеням.

Тут только, переварив, наконец, услышанное, Бобров очнулся.

— Э, э! Народ! А где моя Выдра?

— Да не ори, у нас она, — откликнулась баба Клава, — греется, я ей молока дала.

Гуськом, по очереди зашли в квартиру.

В комнате, под нагревательной батареей, лежала кошка. Увидев Боброва, вразвалку пошла к нему. Стала тереться о ноги.

— Ой, — всплеснула руками дочь бабы Клавы, — смотрите! Она же беременная!

— Здрасьте, только заметила, — процедил Бобров.

Он наклонился. Взял Выдру на руки. Все увидели, что на голове у кошки, возле самого уха, выдран клочок шерсти.

— Точно, — улыбнулся лейтенант, — беременная... Теперь понятно ее поведение. Это же, как его... материнский инстинкт.

Баба Клава, гремящая на кухне посудой, тут же откликнулась:

— Вот именно! Материнский!.. Египетская сила!

Лейтенант достал из планшета листки бумаги. Разложил их на столе.

— Пишите. Все, как было. Подробно. И время указывайте.

Дочь бабы Клавы и Бобров сели за стол. Стали писать. Сержант присел на диван.

Бобров морщился, подглядывал в листок соседки. То и дело спрашивал лейтенанта, что надо писать и как. Хозяйка тем временем принесла с кухни посуду с чаем. Когда поставила кружку перед Бобровым, он демонстративно отодвинул ее. Глянул исподлобья на бабу Клаву. Пообещал утрюмо:

— Я тебе все припомню, акула социализма... Провалится пол или еще какая-нибудь пробоина — зови свою египетскую силу, на меня не рассчитывай.

Потом обратился к лейтенанту:

— Невменяемый как пишут? Вместе или отдельно?

— Не знаю, — зевнул лейтенант, — пиши, как хочешь.

Когда полицейские уехали, Бобров забрал Выдру и ушел к себе, досыпать.

Заснул не сразу. Все ворочался, подтыкал край одеяла под лежащую рядом кошку.

Ему снилась палуба родного корабля.

На ней, возле корабельной пушки сидит жена Лида, баюкает в корзине котят. А он, Бобров, стоит рядом, играет на губной гармошке «Раскинулось море широко». Душевно, как колыбельную. Карнаухов драит палубу. Подъелдыкивает его. Но Бобров на это — ноль внимания. Даже не смотрит в его сторону. Понимает: завидует ему чирик! По-черному завидует, папуас!

